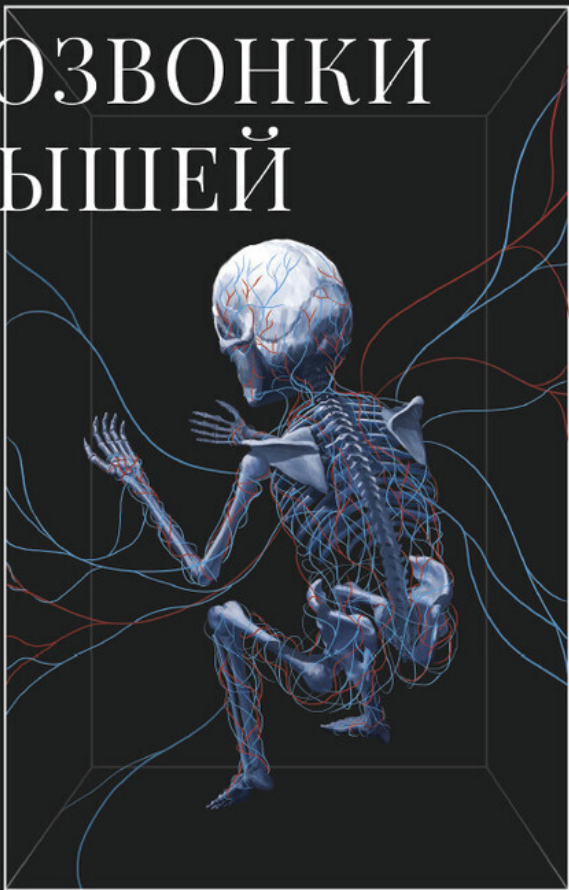


ЕЛЕНА КУЗЬМИЧЕВА

ПОЗВОНКИ МЫШЕЙ



Елена Кузьмичёва

Позвонки мышей

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=27051261

Позвонки мышей:

ISBN 978-5-91627-200-0

Аннотация

Сестра говорила, что я могла бы стать писателем. Но теперь-то поздно. Строки теряют силу и, кажется, вовсе стираются, стоит лишь на секунду отвести глаза. Но я всё равно пишу – Белла просила меня. Чего только не сделаешь ради того, чтобы её спасти.

Это будет история о настоящих людях. Помню, сестра где-то вычитала, что каждый человек, грызущий ногти, подсознательно хочет откусить себе палец. Так вот, это будет история о людях, которые могут откусить себе один палец, затем второй и третий – и все пальцы разом. Прделав над собой этот эксперимент, они продолжают жить как ни в чем не бывало. И что вы думаете? Спустя пару дней на культях отрастают новые пальцы – лучше прежних, сустав к суставу. Жизненная энергия настоящих людей неисчерпаема и может творить чудеса.

Даже если на протяжении всей повести главными персонажами будут казаться другие люди, это только видимость. Они – всего лишь материал, над которым настоящим людям предстоит поработать.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Пролог | 4 |
| Часть I | 12 |
| 1 | 14 |
| 2 | 19 |
| 3 | 26 |
| 4 | 31 |
| 5 | 36 |
| 6 | 39 |
| 7 | 41 |
| 8 | 46 |
| 9 | 51 |
| 10 | 56 |
| 11 | 63 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 68 |

Елена Кузьмичева

Позвонки мышей

Пролог

У каждого есть близнец. Порой он жалок, забыт и даже мёртв, да только существует, хотя бы и вопреки собственной смерти.

Сиамские близнецы, сросшиеся плотью – только слабый намёк на то, что происходит за горизонтом видимого. Они могут смотреть один и тот же сон и думать общую мысль. Им не нужно говорить, чтобы понять друг друга. Каждую боль, пока дышат, они делят на двоих. После смерти одного из близнецов другой живёт считанные часы, а затем отправляется следом, едва организм пропитается трупным ядом.

Такие близнецы рождаются редко, как откровение, и вызывают интерес разве что у каких-нибудь учёных или неприятельных любителей цирковых представлений – удивление, жалость, любопытство, снисхождение... Глупости! Слишком много вокруг людей, которые считают себя неуязвимыми, в то время как незримые близнецы пришиты к ним бестелесно и намертво. словно на рентгене, я вижу сочленения их душ, изувеченных или спасённых этим нечаянным единением.

Конечно, кровное родство не имеет значения, когда два человека срослись духовно, а не физически. Но мы с Беллой ещё до рождения были близнецами, хоть и не сиамскими.

Родные сёстры, мы появились на свет с разницей в четверть часа и поначалу были похожи как две капли воды. Белёсые, почти бесцветные волосы, травянистого цвета глаза, туго обтянутые кожей рёбра. С годами общность чувств и мыслей возникла сама собой. Наши души соединились крепко-накрепко, но я подвела сестру – умерла.

К несчастью, так бывает. Пока один из близнецов дышит полной грудью, пока растит живых детей с румянцем на щеках, другой пребывает в небытии, как замурованное в янтаре насекомое. Он чувствует: смерть уже наступила. Но остаётся рядом, чтобы спасти близнеца, которого своей окончательной смертью непременно увлечёт в могилу.

Поэтому, пока живой близнец корчится в муках существования, мёртвый ласково и смиренно гладит его по голове. Он знает, чем это закончится.

* * *

Не будь на то её воля, я бы не написала ни слова. День за днём сестра внушала мне необходимость начать эту повесть, и в конце концов у неё получилось.

Из соседней комнаты доносится надрывный крик младенца, мало похожий на человеческий. В этом крике нет ничего

детского – жалобного, захлёбывающегося, беспомощного. В нём нет вовсе никакого выражения, кроме властного протеста. «Уберите мир с глаз долой! Зачем вы заставили меня существовать?» – Сестре казалось, что её дочь кричит об этом.

«Навязчивая мысль о смерти лишает людей подлинной сути. Эта мысль заставляет их мертветь ещё при жизни и превращает в жалкие объедки на блюде небытия», – записала Белла и тут же остановилась. Она думает, я больная, и хочет спасти меня своими рассуждениями. Она никогда не верила в мою «теорию близнецов», а между тем мы были похожи как две капли воды, с одной только разницей...

Белла тревожно замерла. В миллиметре от листа бумаги застыл карандаш, как рухнувший обломок скалы, который отчего-то повис в воздухе – и не падает, заслонив собой солнце. А казалось бы, что может быть проще, чем написать ещё одно слово? «Сейчас, сейчас». Талант нанизывать друг на друга мысли всегда восхищал Беллу, но был чужд её внутреннему устройству. Вместо этого эмоции сплетались в рифмы.

– Все выжжены слова клеймом на языках, бежим отсюда прочь, развей во мне свой прах, – подытожила она вслух. Всё остальное осталось произнесённым и вскоре стёрлось из памяти. Но я удержала в голове эти несколько слов. Стихи получались у неё лучше, чем научные работы. Я помню все наизусть, но она сама забывает их слишком скоро.

Крик Ады снова нарушает течение мысли. Белла чертит на бумаге треугольник с истрёпанными краями, с истерзанными углами. Она чувствует невесомость и онемение на кончике языка. Вакуум разума.

За невесомостью скрывается жгучая ненависть к каждой вещи. Потихоньку овладевая сознанием, эта ненависть так и рвётся наружу. Грязный кофейник на туалетном столике, шторы, наполовину слетевшие с крючков, полки, на которых книги соседствуют с косметикой, исцарапанный ножками мебели линолеум, тонкий слой пыли на всех предметах. Немые знаки того, что квартира обитаема, что в ней кто-то дышит, кто-то варит кофе и передвигает стулья с места на место. «Поджечь бы весь этот хлам».

– Мама?

Белла швыряет в стену карандаш, но ненависть остаётся внутри – прячется растущей саркомой. Воздух стекольно дребезжит.

– Мама!

– Ну, чего тебе? – Белла обращает к старшей девочке озлобленный взгляд, но тут же спохватывается, впивается ногтями в ладони, сквозь стиснутые зубы выдыхает. Воздух протискивается наружу, изранив дёсны. – Ну что тебе, дочка?

– У меня голова болит, – говорит Ева хмуро. Мамина злость её больше не пугает.

– Где болит? – Белла обнимает девочку за плечи. Пальцы

плещутся в шёлковых волосах. – Покажи, где именно?

– Мама, тебе было больно, когда я рождалась? – Ева стискивает руками голову, пытаюсь спрятаться от крика Ады, который всё длится, длится...

– Было больно всегда, – машинально отвечает мать.

– Голова болит, как будто внутри сидит птенец. Он хочет выклевывать в голове дыру и улететь. А этот крик...

– Не бойся.

– Но мне больно.

– Не бойся! Сейчас найдём что-нибудь в аптечке и уберём твоего птенца.

– Не надо, мамочка, не хочу убивать, пусть будет больно, я хочу, чтобы было больно, я люблю птенчиков, особенно того, помнишь, мы с папой нашли воробушка под деревом. Папа залез на ветку и посадил его в гнездо, и птеник остался жив, и птицы улыбались...

За окном всё заволокло туманом. Вслед за хрустом ключа в замочной скважине из прихожей доносится запах сырости и осенних листьев. Белла закрывает глаза.

– Как ты? – в комнату льётся голос. Звук обволакивает стены и опрокинутые стулья, впитывается в смятые вещи на кровати.

– Всё так же, – отвечает Белла, пряча тело ещё глубже в халат с протёртыми на локтях рукавами. – Марк, пожалуйста, выйди. Слышишь? Ада кричит. Когда ты привыкнешь уже? Это твой ребёнок. Иди, успокой её...

Марк топчется на пороге комнаты, рассеянно скребёт пальцами щетину на щеке и, цокнув языком, выходит, так и не ответив ни слова. Ему снова неловко переступить порог. Каждый раз он приходит домой с мыслью, что ему здесь не место.

«Ошибка, где-то закралась ошибка», – то и дело думает он, беззвучно шевеля губами и ощупывая карманы, будто бы завалившаяся в них мелочь может помочь ему начать другую жизнь. Но там и на сигареты бы не хватило! Он подходит к кровати, в которой кричит Ада. «Хорошо, что ты ещё маленькая. Взрослые плачут гораздо громче. Просто слёзы текут вовнутрь, и крик застревает в горле как кость – не выплюнешь». Он проводит тыльной стороной ладони по щеке малышки. Ада продолжает кричать.

Так один за другим проходят наши бесконечные дни. Белла кутается в растянутый халат и терпкое облако табачного дыма, пытаясь закончить свою работу «Фиктивное самоубийство как способ психологической защиты». Она переписывает её раз за разом, но всё никак не может дотянуть мысль до точки. Ей бы бросить все эти псевдонаучные теории и снова сочинять стихи, но Белла упорно отказывается считать себя поэтом. Часами она расхаживает по комнате в своём давно не стиранном халате, под крики Ады, под безмолвные взгляды Евы, то и дело откидывая со лба пряди невымытых волос.

Марк работает дворником – убирает наш двор и три со-

седних. Иногда, стремясь забыться, рисует, нежно водя колонковой кистью по дешёвой бумаге. По вечерам он садится на трёхногий табурет в углу кухни и засыпает, прислонившись к выцветающим на обоях узорам. Одна из ножек табурета предательски подкашивается. Белла спит на кровати, раскинув руки. Рядом то и дело всхлипывает во сне Ева.

Бессонный призрак во плоти, я накрываю их собой, как покрывалом Майи. Я всё время рядом, брожу по дому неприкаянным привидением. Никто не замечает меня, разве что Белла. Она иногда протягивает ко мне руки: «Сестра, вернись». Но я только молча смотрю в ответ – бледным отражением её собственного лица. Пальцы Беллы текут сквозь меня и обнимают воздух.

Сестра говорила, что я могла бы стать писателем. Но теперь-то поздно. Строки теряют силу и, кажется, вовсе стираются, стоит лишь на секунду отвести глаза. Но я всё равно пишу – Белла просила меня. Чего только не сделаешь ради того, чтобы её спасти.

Это будет история о *настоящих людях*. Помню, сестра где-то вычитала, что каждый человек, грызущий ногти, подсознательно хочет откусить себе палец. Так вот, это будет история о людях, которые могут откусить себе один палец, затем второй и третий – и все пальцы разом. Прodelав над собой этот эксперимент, они продолжают жить как ни в чем не бывало. И что вы думаете? Спустя пару дней на культях отрастают новые пальцы – лучше прежних, сустав к суставу.

Жизненная энергия *настоящих людей* неисчерпаема и может творить чудеса.

Даже если на протяжении всей повести главными персонажами будут казаться *другие люди*, это только видимость. Они – всего лишь материал, над которым *настоящим людям* предстоит поработать.

Часть I

Самый мёртвый

самый мёртвый
да пребудет со мной
кто измыслив ад отошёл на покой
сквозь морщины на лбу прорастая травой
кто весь пепел мира сберёт в груди
самый мёртвый из всех
да пребудет во мне

тот кто из впадин глазницы вынет
кто в любви и смерти меня не покинет
кто ломает меня до последней кости
а потом построит как прочную стену
перельёт кровь из своей в мою вену
и скажет что чёрное не может быть белым
что птица не ящер а зверь не рыба
что огонь не вода и щебень не глыба
этот мёртвый свернётся в черепа
как зародыш во чреве
он назовёт весь мир до последней вещи
отделит день от ночи и сон от яви
и станет объяснять мне разными голосами
разницу между грязью и небесами
почему тень падает а птица летит

почему кровь течёт и укус болит

так он будет кричать в мои уши
а я буду молчать пока не оглохну
я буду любить его как если бы бога
и ненавидеть и слать его к чёрту
я буду целовать его страстно и долго
а потом в ярости грызть его горло
и он завещает мне стул без ножки
пустую кровать и без штор карниз
и манеру креститься
взяв в руки нож
справа налево
и сверху вниз

1

Почему стены дрожат, почему их зубастые рты надвигаются на меня с хохотом? Начнём – начнём же скорее.

Жил-был человек, который мечтал о смерти. С этих слов можно было бы начать рассказ о Марке – ведь с чего-то же надо начать, чтобы унять эти кирпичные глыбы, которые вот-вот соскользнут на меня по извилистым линиям трещин.

Можно было бы начать с действия. «В дверь постучали». Можно было бы начать с эмоции. «Лицо подёрнулось болью, как озеро на ветру». Или с детали. «На стене висела двустволка с отпечатками жирных пальцев на прикладе».

Но всё это ни к чему. В дверь никто не стучал, двустволки на стене не висело, а эмоции давно были загнаны поглубже внутрь. Для того чтобы эмоция выплеснулась, нужен раздражитель. Точно так же, как нужен нож и движение руки, чтобы кровь брызнула из надреза на коже. Эмоции превратились в хищных птиц и трепыхались, и били крыльями внутри, стремясь выпорхнуть вон сквозь изломы рёбер. Ему бы передуть этих настырных пернатых, но не тут-то было. Он слишком любил птиц, которые раздирали его нутро.

Не то чтобы желание покончить с собой в кратчайшие сроки добавляло ему внешнего лоска и загадки в прищур зелёных глаз. В конце концов, Танатос ютится в каждом человеке – моя сестрёнка намертво вогнала эту идею в мой мозг.

Другим его делала духовная нагота. Тонкая кожа души, которая рвалась, как бумага, от соприкосновения с лезвиями и железными крючьями действительности.

В комнате *другого человека* царил бархатный покой, безмолвие шероховатых поверхностей. На стене висел пыльный ковёр, из которого неизвестно почему торчала швейная булавка. Пружинистая кровать с металлическим изголовьем всегда оставалась нетронутой. Краски и кисти лежали грудой в углу вперемешку с обрывками холстов. Здесь же валялся всякий мусор – осколок разбитой кружки, пробка от бутылки вина, скомканный носовой платок, залитые чаем эскизы...

Человек, обитающий в этой лачуге, почти всегда бездействовал. Он просто «жил», а может быть, просто «был» внутри этого помещения, ежеминутно силясь без боли вписать себя в пространство между шестью гранями куба. Его стерильный быт поражал чистотой геометрических форм. Поэтому выражение «жил-был» указывает лишь на сомнение автора относительно степени существования героя, а вовсе не являет собой сказочный зачин.

«Что бы ни случилось, будет ещё хуже», – так думал Марк в один из вечеров, расхаживая по комнате и поглядывая на бюст Платона, пылившийся на тумбочке. Гипсовый слепок с отколовшимся фрагментом носа и неглубокой дырой во лбу давно превратился в серое подобие античности. Не хватало только случайного жеста, чтобы он раскрошился на сухие

осколки, обнажив внутреннюю белизну.

Марк не любил парикмахерских, и его причёска чаще всего напоминала razorённое птичье гнездо. Едва дотянув до плеч, волосы отказывались расти дальше. Он неделями не чистил зубов и с удовольствием рассматривал карие отметины на резцах, радуясь первым предвестникам грядущей смерти. С той же радостью он встречал и появление первой седины, хотя не прожил на свете и четверти века.

Марк много рисовал, и порой, глядя в зеркало, не без гордости видел в отражении художника. Но картины, рождавшиеся под его нервными, музыкально длинными пальцами, внушали отвращение своему создателю. Его мучил голод неутоленного тщеславия.

«Можно жить вполне сносно, если ты ничтожество или гений, – вновь и вновь пережёвывал он одну и ту же мысль, – но я средний человек. Не настолько силён, чтобы добиться настоящего успеха, и не настолько туп, чтобы жить в коме ложных представлений и тешиться мелкими достижениями. Мне остаётся только марать холсты. Только марать холсты».

– Чтобы хоть как-то скоротать свою бесконечную жизнь, – подытожил он вслух и сел на кровать, не зная, чем себя занять. Всё валилось из рук в тот вечер. Нарочитый аскетизм, взятый за правило в ранней юности, до сих пор висел над ним, как дамоклов меч. Он по-прежнему избегал общения с окружающими, хотя и обладал талантом нравиться с первого взгляда. «Что они называют природным обаянием?»

Неужели умение оставаться безучастным?» Так или иначе, люди быстро остывали, споткнувшись о его отчуждение.

Всё было просто: он отворачивался от них, они теряли к нему интерес. Аксиома Евклида – параллельные прямые не пересекаются. Стоило ему заметить на улице знакомого, как невольно смыкались веки – лишь бы не видеть, а там и о бордюр запнуться не страшно. «Кругом одни и те же лица. Ад повторений».

Любая беседа с участием Марка моментально заходила в тупик. Друзья занимали его не больше, чем воробьи на осенних скамейках. «Я занят, давай встретимся позже, давай не встретимся никогда». Он слишком часто был груб, чтобы это не стало дурной привычкой.

Девушки, которых ему довелось узнать, проплывали мимо как тени, оставляя Марка всё таким же безучастным, высокомерным и девственным. Однако его улыбка вовсе не была улыбкой аскета. Это был широкий чувственный оскал, исполненный желания жить, которое перебивалось искусством по углам сознания.

Он рисовал сгнившие, так и не ставшие цветами бутоны, игрушки, сломанные невменяемыми детьми, трупы оленей, из животов которых выползают сытые гадюки, разведённые огнем мосты, ноги висельника, свисающие с верхнего края холста, дрожь эпилептика, упавшего посреди людной площади, слёзы насильника, только что овладевшего забитой на смерть школьницей, он рисовал шлюх с разомкнутыми но-

гами на дырявых диванах, рисовал новорожденных младенцев, выброшенных матерями в мусоропровод. Его тошнило от этого искусства. Сдерживая подступающую рвоту, он разрезал холсты и жёг их в мангале, купленном единственно с этой целью.

Прохожие, заметив дым, звонили в полицию. Мол, какой-то сумасшедший разжёг костер на балконе. Марк кричал им: «Валите отсюда!» И вытряхивал вниз золу. «Посыпьте себе головы пеплом и прокляните день своего рождения».

2

Марк жил один. Родители разошлись много лет назад, оставив ему небольшую квартирку с трещиной в стене пониже подоконника на кухне – вечным источником сквозняков. Промеж страниц старых фотоальбомов, покинутых владельцами на книжных полках, чёрно-бело улыбались дальние родственники, о которых Марк не имел ни малейшего представления.

– Зачем мне эти незнакомцы на фотографиях? Я даже не знаю их имён. К тому же почти все наверняка уже в могилах.

С этими словами он сжёг в мангале все альбомы. На последней страничке одного из них был снимок, запечатлевший его первую улыбку. Но Марк не узнал сам себя. «Все младенцы похожи друг на друга». И сжёг вместе с мертвецами.

Отца он видел редко. Тот работал дальнобойщиком и только изредка врвался в жизнь сына на своей неповоротливой фуре. «Нельзя забывать прошлое, каким бы ядом ни была вода в этом мутном колодце» – под таким девизом проходили их бессодержательные встречи. В детстве отец мечтал стать поэтом, но потом оказалось, что водить машину у него получается лучше. Раз в полгода он сотрясал дверь ритмичным стуком, в сосредоточенном молчании распивал с сыном бутылку водки, а после засыпал, свесив с кровати

одну ногу. Уезжал ранним утром. «Был рад повидаться, сынок». И выдыхал перегар, неловко стискивая на прощанье руку Марка.

Мать жила в доме напротив. Так им легче было выносить друг друга, но всё-таки – слишком маленький город, слишком узкая улица.

Ретроспективные отступления нисколько не вредят нашему рассказу. Всё это время Марк продолжал бездействовать. Присел на край кровати и, сложив руки на коленях, глядел в стену замершим взглядом. Он хотел бы сорваться с места – и бежать, и жить, и действовать. Но, видимо, было поздно.

«Куда податься? – подумал Марк и по-ребячьи поморщился. – Может, пройтись по парку? Искрошить буханку хлеба уткам в пруду.»

Он усмехнулся. Взглянул на свои руки, словно они и были тем самым хлебом, приготовленным для птиц. Засунул их в карманы джинсов. Встал, наконец, с кровати. Сделал пару шагов, остановился у окна. Снаружи копошились люди.

«Понять не могу, отчего кругом так мало самоубийц? Неужто им нравится? Грызть друг друга, вытягивать все нервы, все сухожилия и вены, чтобы потом отбросить прочь и искать новой жизни. Нового мяса».

Самоубийц, однако, было немало. Просто он редко отлучался из дома и не следил за новостями. Чтобы быть замеченными, самоубийцам пришлось бы прыгать с крыши ему под окно или стрелять себе в голову возле его дома.

В тот вечер он снова почувствовал себя не повзрослевшим ребёнком. Лишив себя всего, что для других является основой бытия, он оставался один в пустой комнате. Совсем так же, как в детстве остался перед пустой коробкой из-под игрушек, когда мать, разозлившись на какую-то его шалость, в один треклятый чёрный день спустила их все в мусоропровод.

Стены комнаты были залогом его безопасности. На них можно было увидеть всё что угодно – танец теней, платоновскую пещеру. Но по ту сторону всех возможных фантазий была пустота. Отсутствие жизненного опыта, которым он будто бы не желал себя обременять.

Его быт был усечен до крайности, а холодильник – почти всегда пуст. В шкафу среди множества голых вешалок покоился единственный пиджак, на крючке в прихожей – потрепанное пальто с оторванной пуговицей. А спал Марк на трёхном табурете, у которого предательски подкашивалась ножка.

Покой нарушала только мать. Эта не по годам седая женщина, хрупкая, как мёртвое насекомое, высохшее между оконными рамами. Марк любил её тиранически, с ненавистью боготворил её навязчивую заботу и, стиснув зубы, открывал ей двери, регулярно впуская в свою жизнь – как непрошенного гостя, которому нельзя отказать. И каждый день, каждый день она приходила.

Пришла она и в тот вечер.

– Сыночек, посмотри, как у тебя грязно. Нужно вымыть полы. Принести что-нибудь на ужин? В холодильнике стоит вчерашний суп. Может, разогреть? Давай я заштопаю твоё пальто, оно по шву разошлось, тут работы немного...

Марк не прерывал её монолога. Он заставлял себя выносить присутствие матери и с терпеливым удовлетворением наблюдал, как морщины на её лице год от года становятся глубже.

Мать приходила снова и снова, смахивала с тумбочек пыль, мыла посуду, штопала дырявые носки и поливала засохшее растение на подоконнике, которому стоило бы свернуться в росток и спрятаться в створках семени, чтобы никогда, никогда не прорасти. Перед уходом, как бы невзначай, она оставляла в прихожей немного денег. Марк никогда их не тратил. Он складывал деньги в трёхлитровую банку из-под солёных огурцов, стоявшую на самом видном месте. Не хотел чувствовать себя обязанным.

Мать видела его насквозь и терпеливо тащила с сыном его жизнь, как полные продуктов сумки из магазина. Она тоже любила его, но в глубине души была рада затворничеству Марка: чувствовала, что сын по-прежнему принадлежит ей. Эти двое были голодными пираньями, пожирающими друг друга.

– Зачем ты постоянно приходишь?

– Больше никому к тебе приходиться.

Марк взглянул в лицо матери. Её глаза улыбались. «Она

смеётся надо мной!»

– Я не нуждаюсь в гостях, – холодно ответил. Потом вдруг спохватился, попытался объяснить ей всё, но вышла одна ложь и пустые жалобы. – Пойми, я и сам хочу, чтобы всё изменилось. Иногда я хочу найти себе девушку или доброго друга. Что может быть лучше друга? Но люди меня раздражают. Едва они приходят в мою жизнь, как я хочу выйти из неё в окно.

– Ты сам выбрал, как жить, – мать стояла возле окна, укутав одно плечо занавеской. – Так не жалуйся.

Белый ажурный тюль покрывал тело, как саван. Марк не мог избавиться от навязчивого образа. Вот она умирает, вот он закрывает ей глаза, касаясь ещё тёплых век подушечками пальцев, вот он плачет, вот возвращается домой с похорон, и остаётся один, один как перст, как распятый на кресте Иисус, как Заратустра на вершине горы, как Будда, как отшельник в Иудейской пустыне.

– Я всё ещё ребёнок в твоих глазах, – внутри него бился в судорогах сдерживаемой злости маленький мальчик, готовый броситься на мир с кулаками и даже пнуть умирающую на тротуаре собаку: если заскулит, значит, настоящая.

– Всё еще живая игрушка. Ну давай, ты же этого хочешь, запеленай меня в покрывало! – он сдёрнул с кровати плед и швырнул на пол, к её ногам. – Отвези меня в парк на коляске, я буду маленьким и послушным, и всегда буду открывать рот, когда ты захочешь накормить меня супом.

«Всё это пустое, умолкни», – сказала она одними глазами, но Марк сделал вид, что не заметил. Он хотел выдохнуть в мир всю свою ярость, чтобы мир лопнул, как ненадёжное чрево мыльного пузыря, а он сам остался зародышем в безводной пустоте, который душит себя обеими руками.

– Зачем ты родила ребёнка? – он безжалостно смотрел ей в глаза снизу-вверх, сидя на кровати. – Ты сделала это, чтобы наполнить хоть чем-нибудь свою пустую жизнь. Чтобы каждого шага появился хоть крохотный смысл. Я был отроком твоего эгоизма. Отец просил сделать аборт, но ты не послушала. Твоё тело выплюнуло из себя новую жизнь, но кому она нужна? Я каждый день спускаю её в унитаз и живу здесь, как инвалид души, только потому что ты, ты этого захотела.

В тот вечер он выносил жизнь с трудом, а её хрупкие плечи так и просили чужой ноши. «Наверное, я совсем не умею воспитывать детей», – подумала она и снова приняла вину на себя, но всё же попыталась дать отпор его гневу.

– Вижу, тебе тяжело. Но может быть, пора прекратить этот спектакль? Тебе не три года, чтобы я водила тебя за руку в детский сад. Просто живи, хотя бы начни жить. Вымой полы, выбрось в помойку весь этот хлам. Устройся на работу, мало ли вакансий, посмотри людям в глаза, найди себе друга. Сделай хоть что-нибудь. Перестань сжигать свои картины. Хоть что-нибудь, слышишь? Хоть с соседями подерись! Напейся и пой песни, сидя на подоконнике, купи галстук, выйди на

улицу. В твои годы я уже...

– Что – уже?

– Да что угодно! По крайней мере, не вела себя как младенец. Смотреть противно, во что ты превратил свою жизнь!

– Противно смотреть. Так что ты здесь делаешь? Уходи! Не хочу видеть тебя в своей квартире.

– Строго говоря, квартира твоя только формально, – не без сарказма заметила мать.

Высохший комар шевельнул лапкой, и конечность, отвалившись, беззвучно упала.

– Прошу тебя, уйди.

И она ушла, раскроив улицу надвое своими плавниками. Дом встретил её всегдашним молчанием. По внешней стороне оконных стёкол стекала дождевая вода, но внутри было так сухо и тепло, что даже самая сильная рыба сдохла бы вмиг.

3

Марк избороздил шагами комнату. Потом вышел на кухню и, опустив тело на табурет, долго сидел, словно изваяние скульптора-недоумка, подарившего миру ещё одно бесполезное творение. Этот скульптор прилепил червяку ноги и руки, увенчал нелепое тельце головой, а потом, просунув в череп два растопыренных пальца, разрешил выглянуть наружу из получившихся дыр, чтобы увидеть собственное убожество.

Когда затекли ноги и устала спина, Марк подошёл к окну. Снаружи давно стемнело, и с неба смотрела луна. Она напоминала рыбий глаз в тарелке супа, плывущий вместе с масляными кругами облаков по круговой траектории ложки. Марк с детства любил есть рыбы глаза. Ему была приятна их лёгкая горечь. Ему нравилось, что когда-то это были глаза, которые могли видеть под водой, а теперь он давит их челюстями вместе с картошкой и луком.

За окном он заметил молодую пару. Освещённые электрическим светом уличного фонаря, они жались друг к другу, как щенки. Ещё секунда, и Марк почувствовал их трепет, их подкожный жар, теплоту их рук, стремящихся к соитию. Он ощутил зуд в паху и погрузил тёплую руку в расстёгнутые джинсы. Потом отвернулся. «Смотреть тут не на что». Но спустя пару секунд вновь посмотрел на улицу, уже без вождения.

С другой стороны, невидимой влюблённым, держась одной рукой за стену, мочился пьяный бродяга с длинными спутанными волосами. Марк часто видел его из окна. Теперь, шатаясь, он держал в руках свой член, как мелкую рыбёшку, и ему ничего было больше не нужно. Реальность сузилась до зассанной стены и вместе с тем стала домом, где можно упасть хоть посреди автотрассы и уснуть, не беспокоясь о том, что будешь раздавлен ближайшим автомобилем.

«Подумать только, – Марк думал, беззвучно шевеля губами (со стороны это всегда выглядело очень смешно), – я даже ему завидую. С лёгкой руки он просто нассал на мир и сейчас ляжет спать, ни о чём не беспокоясь. Какая, однако, поэзия – пьянство».

Задёрнув шторы, Марк вернулся на свой табурет. Он как всегда искал смысл, чтобы дышать. Блуждая в книгах, внутри себя или в оттенках красок на холсте, день за днём он пытался обнаружить и привести в движение некую необходимую шестерёнку, которая подтолкнула бы вперёд ржавый механизм его жизни. Но смысл не проявлялся, а создавать его своими силами Марк не умел.

В свои двадцать с небольшим он уже побывал дворником, кондуктором, разносчиком газет, журналистом, дизайнером рекламных буклетов и декоратором в детской театральной студии. Но, едва устроившись на новую работу, он снова мечтал окружить себя четырьмя стенами и глядеть на мир из окна, словно из аквариума.

Жить, как все вокруг, Марк не умел. Он попросту не понимал окружающих. «Столько людей сейчас спокойно спят, кушают плов из фарфоровых тарелок, их ужину придаёт смысл приправа для курицы, купленная по акции, им не нужно иной власти, кроме власти над кнопкой лифта, им нужна просто женщина, которая по вечерам будет покорно ждать в постели, им нужен просто мужчина, который погладит по голове, дети, которые будут смеяться. Им нужна эта жизнь, он счастливы, вот и всё!» Он завидовал этим людям.

Позвонила мать.

– Марк, ты?

– Его нет дома. Прогуляться пошёл и помер в канаве.

– Господи, за что...

– Мам, да перестань. Конечно, это я. Кто же ещё? Что-нибудь случилось?

– Нет, ничего. Просто я устала. Очень устала... – её голос был тише шелеста листьев за окном, но он всё слышал. – Собиралась принести тебе тёплые вещи. Нашла в шкафу, когда прибиралась. Но лучше потом как-нибудь.

– Мне ничего не нужно. Но если очень хочешь, принеси. Завтра, послезавтра или никогда, – мать молчала. – Ладно, прости. Иди отдохни как следует... – Но и это прозвучало как издевательство.

Марк знал, что она никуда не пойдёт. Просто ляжет на кровать и, вжавшись в простыню, слишком чисто пахнущую порошком, станет вспоминать свою прежнюю жизнь, когда

всё было иначе, когда был рядом мужчина, которому можно гладить рубашки, когда еще не повзрослел примерный сын, ласковый ребёнок, который трепал волосы девочкам, валялся в траве, играл во дворе в футбол и возвращался домой грязным как чуело.

Он знал всё это, но ему было её не жаль. «Ей хотя бы есть о чём вспомнить». Когда он оглядывался на своё прошлое, перед глазами зияла пустота размером с жизнь. Он сам хотел этой пустоты, но требовалась нечеловеческая сила, чтобы выдержать её темень и тишь.

«Если я всего лишь слизняк, погрязший в одиночестве, в самообмане, в иллюзии свободной воли, если я только придаю тяжесть этому табурету и ращу внутри себя чудовищ, если сам становлюсь диким зверем, готовым вцепиться в горло собственной матери, если так, чем я лучше? Чем я лучше куска свинины, который кровоточит на разделочной доске, когда она готовит обед...»

Поток «если» ещё долго не иссякал в его голове. Он был ничем не лучше, это факт. Кусок мяса не может никого заставить страдать. Марк схватил нож и отшвырнул его прочь. Остриё вонзилось в оконную раму.

«Будь я хоть немного живее, куда бы я пошёл? – он взглянул на белые пальцы, торчащие из домашних шлёпанцев, как опарыши, покрытые тонкими волосками. – Ноги нужны бегунам и путешественникам. Всем тем, кто торопится. Не мне. Где бы я ни был, мне ничего не нужно от мира. Будь у

меня силы выносить бессмыслицу быта, я бы больше рисовал и читал. Да, я бы проглотил тонны бумаги до последней буквы. Но зачем мне нужны слова, если они тают в воздухе, едва жизнь вступает в свои права? К чему эти книги, эти холсты и краски, и органы тела? Бессмысленность нахлынет, и ноги станут ни к чему».

И бессмысленность нахлынула. Единственное, чего он не мог выносить в одиночку. Он выдернул нож из оконной рамы и прошёлся лезвием по горлу.

4

Примерно в это же время, или, быть может, несколькими месяцами раньше, что нам до хронологической точности, Белла сидела на парапете крыши.

Тогда она ещё ничего не знала о Марке. До их знакомства оставалось немало лет, но у каждого есть близнец, помните? Осознав, что мертва, я не хотела отравить Беллу трупным ядом. Ей нужен живой близнец, решила я. И тогда я распутываю все морские узлы между нами. Тогда я смогу исчезнуть окончательно...

Крыша была ветреной и пустынной, как взлётная полоса, с которой не поднимался ни один самолет. Свесив ноги, Белла смотрела, как внизу копошатся люди. Маленькие личинки с опухолью разума внутри черепа. В голове смешивались мысли, воспоминания нанизывались друг на друга цепочкой ассоциаций. Я молчала рядом. Мёртвая-мёртвая.

Когда-то давно, в детстве, Белла точно так же сидела, свесив ноги с дерева, и наблюдала, как по стволу течёт чёрная струйка муравьёв. Она то и дело преграждала им путь ребром ладони, каждый раз удивляясь, с какой равнодушной смелостью они принимают удары судьбы и меняют направление движения. Ей бы так, ей бы, но разве дети бывают так бесстрашны, как муравьи? Из зависти она раздавила нескольких муравьёв пальцем. Я собирала тысячелистник и

попынь на поляне внизу, но Белла меня не замечала.

Не замечает она меня и сейчас. Но я-то знаю. Глубоко внутри она осталась той маленькой и безжалостной девочкой – богом, сидящим на ветке дерева, с отвращением и завистью рассматривающим собственные творения.

Теперь Белла мечтала об апокалипсисе. О внезапной катастрофе, которая стёрла бы всё с лица земли, и лицо земли стёрла бы тоже, оставив горящее ядро, обжигающее космос. «Уберите мир с глаз долой и оставьте меня, оставьте. Выверните планету наизнанку. Пусть люди утонут под зелёными газонами, а сквозь их тела пусть прорастают древесные корни». – «Белла, как невинна твоя ярость! Ты ещё совсем ребёнок».

Она думала, что нет на свете человека, который смотрит на мир с того же ракурса. Другие люди, казалось Белле, видели в тот день сияющий мир, омытый солнцем, золото осенних листьев и праздничные улицы, одетые в свет. Впрочем, не исключено, что так и было. Даже я заметила всю эту красоту: прохладный воздух с оттенком синевы, яркие блики на вечерних окнах. Но Белла...

Белла сочиняла нараспев стихи, покачиваясь из стороны в сторону, будто готовясь взлететь. Она никогда их не записывала.

– Самый мёртвый да пребудет со мной кто измыслив ад отошёл на покой сквозь морщины на лбу прорастая травой кто весь пепел мира сберёг в груди самый мёртвый из всех

да пребудет во мне...

Я помню наизусть её стихи, но стоит только начать читать их по памяти, как Белла вдруг вся сжимается, будто мгновенно стареет. «Ну всё, хватит, перестань. Зачем ты меня мучаешь?» Она сочиняет, чтобы избавиться от боли, выbleвать эмоции в реальность, забыть и жить дальше как ни в чём не бывало.

Белла стала болтать ногами в воздухе, представляя, как сидит на шатких мостках деревенского пруда, где бабушка обычно полоскала бельё. Под пунцовыми летними закатами, отражёнными в детских глазах, деревянный дом казался замком. Белла часто тоскует по нему в городской квартире. Зато наша мать, наверное, и теперь ненавидит это место. На время вернувшись к нам, она никогда не навещала малую родину.

Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Там, во время безумной ссоры с привкусом спирта, она расправилась с возлюбленным одним ударом ножа, а потом сидела, втиснув тело в угол, плача навзрыд и наблюдая, как к ногам всё ближе подбирается тёмный, ещё тёплый ручеёк.

Мы были ещё совсем детьми, когда мать переехала в колонию общего режима. Приговор смягчили – из-за синяков, которые погибший оставил на её боках, прежде чем отойти в мир иной. Она отбывала наказание с неженским стоицизмом, думала начать новую жизнь, но вскоре после выхода на свободу короткая история любви и смерти повторилась с точностью до размаха руки. Хорошо ещё, что наш отец сам

бросил её. Уехал, не сказав ни слова, едва мы появились на свет.

Мы даже не знаем, как он выглядел. Мать говорила, что порвала все фотографии и сожгла в печи, но мне кажется, что его фотографий не было вовсе. Иногда я думаю, что у нас просто не было отца – или он был настолько невесом, что не запечатлелся даже отголоском воспоминания.

«Чем больше любовь, тем сильнее ненависть. Прямая пропорциональность, понимаешь? – объясняла мать малютке Белле, которая, конечно, ничего не понимала, но успела привязаться к отчиму, несмотря на его матерные монологи за обеденным столом, грязные ботинки и сытую отрыжку вместо поцелуя на ночь. – Только немногие способны это выдержать. Выдержать и, что бы ни случилось, принять вину на себя. Нести её за двоих, и так всю жизнь, будто с ножом в груди». Однако настоящий нож всё-таки оказался не в её грудной клетке.

Позже мы с Беллой приехали в деревню вдвоём и выслушали от болтливых соседей историю нашего замка, ставшего пепелищем.

После смерти бабушки и нашего переезда дом пустовал недолго. Сорвав все замки, в нём поселились пьяницы, покупавшие самогон на окраине деревни у одной старушки, которая умела хорошо заработать на чужой слабости. Эти двое бродяг подрабатывали где придётся. Иногда кололи дрова или помогали убирать сено, дрожащими с похмелья руками

собирали в лесу ягоды, а после продавали местным жителям. Денег едва хватало на то, чтобы пить.

Зимой, когда топить печь стало нечем, они начали разбирать дом и сжигать его по частям, бросая в огонь доски и брёвна. Под конец у них осталась только одна комната. Возле печки они свалили кучу тряпья и спали там, чтобы не подохнуть от холода. Но однажды ночью дом выгорел дотла, а его призрачные жильцы куда-то исчезли. Некоторые были уверены, что бродяги заживо сгорели во время пожара. Другие говорили, что они отправились искать новый дом, чтобы вскоре поджечь и его. Но этим праздным вопросом задавались недолго.

Это были люди, о которых никто не помнил. Некоторое время они наполняли собой покинутый нами дом, устилали его комнаты своим запахом, опрокидывали на кухонный стол стаканы с самогоном, пока не сожгли в печи этот самый стол. Потом они просто пропали, и двух жизней как не бывало. Никто не отпел их дрогнувшим голосом.

Закат заволокло тучами, и темнота на крыше становилась всё гуще. Но всё-таки мы смогли разглядеть, что голубь, приземлившийся рядом с Беллой на парапет, был весь серый – словно седой. Сложив свои старые крылья, он глядел по сторонам сквозь бусинки немигающих глаз.

– Когда-то была надежда, – говорила Белла, обращаясь к птице, – а теперь ничего. В детстве казалось, что будущее наступит, что жизнь обростёт событиями и смыслом. Но она только вытянулась в длину.

Её пальцы между тем искали в сумке расчёску. Это я подарила ей свой деревянный гребешок, мне ни к чему, ни к чему. Он весь в трещинках и только выдирает волосы.

– Помнишь? У меня были друзья, – продолжала сестра. – Однажды мы не спали трое суток кряду. В первый день сожгли огромный стог сена в поле за городом, во второй пили вино в детском городке и швырялись песком, а какая-то женщина орала матом из соседнего дома, что её ребенок, мол, уснуть не может. Мы умели танцевать и драться, жить и умирать одновременно. Могли бы, кажется, не поморщившись, держать в руках огонь. А теперь кругом пусто, как в заброшенном доме. Нет людей. Все облетели, как листья с сухого дерева. Я мёртвое дерево, понимаешь?

Голубь улетел. Пальцы прекратили перебирать содержи-

мое сумки. С порывом ветра нахлынула паника, и Белла сжала руками голову. Ей хотелось кричать и плакать, переломать себе все кости, кусать локти, корчиться в судорогах памяти. Но мёртвые деревья умеют только гореть. А как красиво из сосновых ран порой течёт смола, как нежно поскрипывают на ветру ветви, как тонко пахнет хвоя, растоптанная босыми пятками на колючей лесной дорожке...

– Ты многого не замечаешь, Белла. Мне всё это уже не нужно! На что мёртвым шорох листвы под ногами? Но у тебя впереди столько жизни, столько не испытанной ещё боли, столько ножей между рёбер, столько крови на невинных пальцах... Я уже ничего, я уже никогда, но ты, но ты...

Я взывала к ней напрасно. Она вскочила на парапет и, закрыв глаза, направилась вперёд. Так отчаянный пилот-любитель направился бы к самолету, решив без тренировки сделать в воздухе мёртвую петлю. Белла считала шаги, край был всё ближе, ей бы остановиться, но она уже не могла, ей хотелось оступить, чёрт бы побрал эту соблазнительную смерть, ей хотелось сделать шаг, и ещё, и дальше, и вниз, и навсегда прочь. Когда её ноги потеряли опору, она сосредоточенно молчала. Паника отхлынула. В последнюю секунду в голове Беллы звучал тихий, уверенный и всё понимающий голос: «Вот и всё. Ты падаешь, падаешь наконец».

Но я была рядом. Я всегда была рядом, всегда стояла за её спиной. Она знала, что я не дам ей умереть, иначе разве осмелилась бы? Ах, дорогая сестра, я же люблю тебя. Я не

позволю тебе стать такой же мёртвой, как я. Слишком много лет я отравляла смертью твоё существование! Теперь всё, что мне нужно, – сохранить тебе жизнь, не дать умереть следом за мной.

Когда Белла начала падать, я подалась вперёд и обхватила её тело обеими руками, перегнувшись через парапет. Кожа рвалась как бумага, но когда ты мёртва, это совсем не больно. И я спасла её.

Сестра крепко обняла меня, и на долю секунды мы стали одним живым человеком. Зажмурившись, я чувствовала её дрожь и видела перед глазами тонкие красные нити, которые вздрагивали в темноте и свивались в клубок у своих истоков.

В тот вечер мать Марка не могла уснуть. Память о дневной размолвке лишала её покоя. Повинуясь воле дурного предчувствия, она накинула на плечи шерстяную шаль поверх халата, сунула ноги в сапоги со сломанными застёжками. Суставы чуть слышно хрустнули, когда она натянула перчатки на сухие пальцы.

Мать торопливо вышла на улицу, прихватив с собой свитер Марка, который давно связала, а он не носил. «Ворот слишком колючий и тугой, как ошейник», – жаловался сын. Она помнила эти слова, но решила, что скажет ему, дескать, пришла отдать свитер, чтобы оправдать своё навязчивое присутствие. «Нервы шалют, шутка ли, пятьдесят лет».

На звонок в дверь Марк не ответил. Тогда она нащупала связку ключей в глубоком кармане халата и открыла сама. В квартире было темно и тихо. Дрожащие пальцы скользнули к выключателю. Она уронила свитер у порога, бросилась в кухню, упала на колени, но было не больно, совсем не больно.

«Марк, сыночек, что с тобой, почему ты весь в крови, господи, спаси и помилуй, где же здесь аптечка, что всё это значит, Марк, дорогой, что ты со мной делаешь, пойдём, я положу тебя на кровать, нет, только не шевелись, сейчас мы вызовем врача, алё, это «скорая», приезжайте скорее, мой

сын умирает, улица, господи, какая улица, улица Революции, дом три, квартира сорок восемь, Марк, ты только потерпи, ты только живи, а суп можешь не есть, отдадим его собакам, я тебе свитер принесла, ты же не умрёшь, ты же не можешь, так же нельзя, алё, скорая помощь, ну что же вы не едете, спасите ради Христа, горите вы все в аду, нет, что ли, у вас сыновей».

Мать сберегла Марка для новой жизни – или рана была неглубокой. Смерть щёлкнула зубами и уползла в будущее, оставляя за собой шлейф проглоченных по пути трупов. Я хохотала ей вслед. Белла тоже была спасена.

Ещё долго после своей несостоявшейся смерти Белла была сама не своя. Целыми днями она лежала на кровати, накрыв лицо белой простынёй и не замечая ничего вокруг. В то время наше внутреннее родство было особенно ощутимо. Иногда она звала меня. «Алёнушка, расчеши мне волосы, посиди рядом, возьми меня за руку». И я подходила к её постели. Мать, недавно вернувшаяся из колонии (как мы помним, ненадолго), пыталась обрести себя в домашнем хозяйстве и вечно что-то стряпала на кухне.

Белла молча принимала нашу заботу. Слабо обнимала меня за шею, улыбалась бесстрастно и смиренно, как монашка.

– Я теперь совсем как ты. К чему продолжать, когда я должна была лежать на асфальте безобразным трупом? Пришлось бы хоронить в закрытом гробу. Алёнушка, неужели ты тоже это чувствуешь? Моё тело совсем не имеет веса. Я не слышу пульса, не чувствую ног и рук. Один резкий выдох – и от него ничего не останется.

Это было уже слишком. В этом доме и без того достаточно мёртвых, решила я. Сняла со стены зеркало и поднесла к её лицу.

– Белла, посмотри, ты ещё совсем живая.

– Мне всё равно.

– Белла.

– Ну?

– Я могу поклясться, что ты живее всех живых.

– Помоги мне уснуть, выносим только внутренний стон, мир на все голоса изодрал перепонки, крышку гроба закрой за собой, там снаружи сегодня свежо, стынут реки, и лёд слишком ломкий...

– Стихами защищаешься...

– Вот ещё! Если я жива, то и ты тоже. Ясно? – она сказала как отрезала. Слишком серьёзные глаза. Я начала волноваться.

– Не обманывай себя!

Она только рукой махнула и отвернулась к стене. Я схватила её за плечи и повернула к себе. Она потом показывала, как мои пальцы отпечатались на коже синим.

– Нет уж, дай мне сказать, и у мёртвых должны быть шансы, посмотри вокруг, сколько старых дев прозябает по углам коммунальных квартир, сколько людей гибнет на зимних курортах, под колесами грузовиков, от укусов ядовитых змей, сколько раковых опухолей разрослось во внутренностях человечества, сколько людей безуспешно кромсают в операционных! Другие умирают просто так, никем не оплаканные, сгорают заживо во время пожаров. Тебя всё это обошло стороной, ты лежишь здесь и можешь почувствовать, как из кухни пахнет гренками. Что, мало тебе? Мало?

– Это просто случайность, – она была спокойна, как труп. – Все несчастья обходят нас стороной до поры до вре-

мени. Но потом время придёт, можешь не сомневаться. Придётся прикусить язык и жить в инвалидном кресле или доме престарелых.

– Нет, послушай, – я набрала воздуха в свои безжизненные легкие. – Это не может быть случайностью. Я осталась здесь только для того, чтобы спасти тебя, и на то Божья воля. Ты говоришь, Бога нет, а я верю, потому что нельзя не верить. Не могло сотвориться из пустоты всё это ничтожество человеческое. Жизнь очень трудно устроена, всё связано, всё проникает во всё, упали хоть волос с твоей головы, и всему конец, посмотри, как гармонично твоё лицо и как прозрачно моё. Посмотри, всё вокруг исполнено смысла и предназначения, всё целесообразно и закономерно.

– Уйди! Надоела со своими богами! – наконец-то она потеряла самообладание.

Тут я не выдержала и разбила зеркало об пол. С кухни прибежала мать, её руки были в муке.

– А ты как думала, Белла? – я не могла остановиться. – Ну же, отвечай!

Белла молчала, её лицо выглядело испуганным. Я была довольна.

– Разве ты не знала, что Бог – просто ублюдок? Он убивает младенцев, а потом насилует их у себя в раю. Он мучает животных и людей, всем выламывает рёбра, будь ты хоть трижды свят. Всё вокруг исполнено смерти, смерть целесообразна и закономерна, но забудь же скорее об этом. Я спас-

ла тебя для новой боли. На что ещё нужны мёртвые? Для кого и зачем люди ставят свечи за упокой? Теперь у тебя снова есть целая жизнь, просторный и жаркий ад. Иди и живи, делай что хочешь, хоть собак режь в подворотнях, по Божьему подобию! Или ты хочешь быть человечней самого Бога? Так напои щенков молоком!

– Замолчи! – Белла закрыла уши руками и зажмурила глаза. Снова повела себя как ребёнок. «Уберите мир с глаз долой!» Ну уж нет, не так быстро.

– Бог обманул тебя, а правду ты и слышать не хочешь! Он хотел сказать совсем другое, но был лжив, как и все вокруг. Возненавидь ближнего своего, суди и будь судима, кради кладбищенские ограды и сдавай их в металлолом, убивай сифилитиков и алкоголиков с разложившейся печенью, лги самым честным и благородным, не стеснясь, прямо в лицо, смейся над моралью, презирай своих родителей, не бойся смотреть с вожделием на всех без разбора, на мужчин, женщин и бесполох уродцев из твоих снов, и если твоя правая рука соблазняет тебя, помоги ей левой, и если тебя ударят в правую щеку, переломай им все кости, нарушай клятвы и никогда, никогда никого не прощай...

Продолжить мне не дали. Я упустила момент, когда мать позвонила своему новому хахалу. «Иди успокой эту ненормальную, я готовлю и рук марать не стану». Она думала, что я просто «кривляюсь», чтобы выжить её из дому. Её ухажёр был в гараже, чинил свой старенький мотоцикл.

Прибежав по первому зову, он скрутил мне руки за спиной. Но, заметив, что я не сопротивляюсь, отпустил, не потечески жадно обхватил за талию.

– Что ты, Алёнушка, успокойся, – он гладил меня по плечам. – Посмотри, ты своё отражение разбила.

– Я все отражения разбила, чтобы никто в этом доме не видел собственного лица! – ни слова больше. Я не так сильна, чтобы кричать в пустоту. Но всё-таки, Белла, как бы я хотела хоть чем-нибудь тебе помочь.

Твоя воля сильна, ты стучишь кулаками в стенки моего черепа, ты калечишь меня изнутри, твои руки как молот, не знающий милосердия. Исчезни же, найди покой, я не могу этого выносить.

Мать и её новый возлюбленный некоторое время оставались с нами. Должна сказать, мы жили вместе довольно сносно, хоть и недолго. Зеркала летели на пол нечасто, и мамины супы только изредка бывали пересоленными.

Новый «отец семейства» вечно пропадал в своём гараже. Есть тысяча других поводов остаться в одиночестве: рыбалка, пустая пачка из-под сигарет, открытие нового бара, фраза «Пойду прогуляюсь». Но он неизменно произносил «Я вниз», и уходил в свою каморку.

В гараже пахло машинным маслом, в гараже поскрипывало старое кресло с выломанным подлокотником, стояли коробки с книгами (наследие нашего дедушки-филолога, которое пришлось перенести сюда, чтобы освободить комнату для матери). В гараже шаркали по дощатому полу тапочки с полупрозрачными истёртыми пятками, в гараже царил покой, который никто не имел желания нарушать. Там было слишком душно и пыльно для всех, кроме него.

Можно сказать, что он был примерным семьянином – только складной нож держал неизменно во внутреннем кармане пиджака, который носил не снимая. «Глупенький, он тебе не поможет», – хотелось сказать ему, но я молчала, берегла его для смерти, не хотела, чтобы жил в страхе. Я могла попросить его уйти – но он бы остался, не поверил. Да и кто

он такой, чтобы я спасала его?

Он старался быть с нами добрым, вести себя по-отечески. Хотел, чтобы мы простили матери своё далёкое от совершенства детство. Только нам было всё равно – уж слишком он был навязчив. Иногда он садился рядом со мной на диван и нежно гладил по щекам, зарывался лицом в мои волосы и шумно дышал, как будто хотел в них задохнуться. Пару минут спустя вставал и уходил из комнаты. Я прощала ему всё, я знала – ему совсем недолго осталось. Ещё пару раз, пожалуй, стянет с матери колготки, торопливо вжавшись в её тело, а потом любовь настигнет его ласковой сталью между рёбер.

Он навязывал нам свою жизнь, вплетая её в наш быт, как ленты в мои косы, но выходила всё та же бессмыслица. Находясь в одной комнате с ним, я чувствовала себя наедине с мертвецом. Слишком много мёртвых! Его труп неистово вонял дешёвым табаком и грязными носками.

Они жили с нами, в *нашем* доме, заполняя собой добрую его половину. А ведь мы могли провести все эти годы в той деревенской глуши, где наш старый дом превратился теперь в груды золы. Выражаясь языком Беллы, нам просто повезло, счастливая случайность подарила нам новую жизнь. Не правда ли, сестрёнка, ты бы сказала так?

Квартира досталась Белле в наследство от тётки. «Которую никто не любил», – рассказывая о родственнице, обычно уточняла бабушка. Как-то раз эта тётка, имени не вспомню,

приехала погостить к нам в деревню. Она напилась до беспамятства в компании местных алкоголиков, которых беззастенчиво привела прямо к нам домой. Развалившись на узкой кухонной лавке, она кричала: «Налейте ещё рюмку ради Христа! Всё отдам, только одну рюмку, прошу по-человечески!».

Никто и пальцем не шевельнул, но Белла, тогда ещё совсем крошка, встав на табурет, дотянулась до заветной полки и налила тётке полный стакан водки. Та жадно опрокинула его в себя, выдохнула «Вовек не забуду», и уснула, свалившись с лавки.

Лет десять спустя тётка померла. Последними, кого она увидела перед смертью, были черти, в диких судорогах смеясь пляшущие по комнате. Но она не забыла. Квартиру и всё прочее имущество, по большей части достойное городской свалки, щедро завещала Белле.

Мы тогда жили с бабушкой, но, узнав о наследстве, начали паковать вещи. Нам хотелось в новую жизнь, в новую смерть. Белле едва исполнилось восемнадцать.

Бабушка как будто только и ждала этого момента. Уже вечерело, когда она вышла на веранду, чтобы развесить выстиранное бельё. Почувствовав головокружение, присела отдохнуть на скамейку.

Бабуля бы присидела там до второго пришествия, если бы мы не похоронили её три дня спустя. По горло сытые всхлипываниями и соболезнованиями, мы уехали в слезах, но со

спокойной душой, что о бабушке теперь позаботится немилосердный к миру, но добрый к мёртвым Господь, а мы можем не винить себя за то, что бросаем её одну в глуши.

Дед умер ещё раньше – упал с лестницы. Белла всегда боялась его, но и любила – как могла бы, кажется, любить отца. У него не было обеих ног – он лишился их в сорокалетнем возрасте. Что-то случилось на местной лесопилке: деду заплатили компенсацию, но новых конечностей не выдали. «Будь у меня ноги, бежал бы отсюда прочь». – «Почему же ты не убежал, когда ноги были?» – спрашивала Белла, а он только улыбался в бороду.

В юности он жил в городе, работал в каком-то издательстве, но, встретив бабушку, полюбил не в меру горячо и уехал с ней в деревню, за сотни километров от своей прежней жизни. Взял с собой только книжки – их-то Белла и читала всё детство. «Посмотрите на людей, которые здесь живут, – говорил он нам, разъезжая по комнате в своём кресле. – Святая простота, ни тени интеллигентности на лице, песни и танцы по вечерам. Я прожил среди них столько лет, а всё-таки не сумел стать таким же. Хотел, но не смог. Иная родословная! Сколько ни паси коров, сколько ни коси травы, если провёл полжизни среди книг, то настоящую жизнь только в них и видишь». Я не велась на его речи, а Белла уже тогда вцепилась в литературу мёртвой хваткой.

Для того чтобы дед мог без посторонней помощи выезжать из дома, возле лестницы на крыльце обустроили пан-

дус. Но однажды он плюнул на всё и поехал прямо по ступеням. Коляска опрокинулась, сделав в воздухе неполное сальто. Дед погиб, ударившись головой – то ли о камень, то ли о нижнюю ступень.

Белла не умерла, но чувствовала себя мёртвой. После несостоявшейся смерти на парапете сестре казалось, что в её теле живёт кто-то другой, лишенный чувств и глубоко чуждый ей. «Алёнушка, отрежь от меня кусок мяса, отнеси бездомным собакам. Я слышу их тьяканье во дворе. Мне всё равно, я ничего не почувствую, даже если воткну себе вилку в глаз». Этого она, однако, не делала.

Между тем, появился этот тип. Друг детства, знакомый сестре с пелёнок. Я помню его прозрачные пальчики, когда он протянул ей алюминиевое колечко со словами: «Белла, ты выйдешь за меня замуж?» Он нашел его, играя у нас во дворе. Выполоскал в ведре, где все обычно мыли ноги, и, сглотив соплю, надел на её тонкий мизинец. «Когда вырасту, обязательно! – с готовностью пообещала Белла. – Бабуля говорит, сейчас ещё рано».

Его родители никак не могли ужиться вместе: то и дело расходились со скандалом, и мать, забрав с собой сына, уезжала к городским родственникам. Однажды они отсутствовали больше года, но всё-таки неизменно возвращались. В конце концов, этот мальчик вошёл в нашу жизнь основательно и надолго. В очередной раз приехав назад, он поступил в пятый класс и наотрез отказался следовать за матерью в случае новой размолвки.

Деваться было некуда – в деревне была всего одна школа. Уезжая, мать больше не брала сына с собой. «Присмотрите за моим мальчиком, – просила она нашу бабушку, которая и тогда уже еле передвигала ноги, – я не могу остаться, а ему ведь учиться нужно».

Это было время, когда все дети похожи друг на друга, потому что ещё не успели узнать самих себя. Белла накупила груды косметики в местном магазине и круглые сутки говорила только о мальчиках. Пускала на ветер безыскусные рифмы: «кровь – любовь» и всё такое. Первое стихотворение сложилось в рассказ о том, как она убивает своего парня кухонным ножом. В некотором смысле, пусть и поэтическом, характер матери был ей сродни. А ведь Адам всего лишь потанцевал с другой девочкой на дискотеке!

Да, его звали Адам. Это он, прародитель всего человечества, щупал под школьной партой худые Беллины коленки, срывал бутоны бантов с тоненьких косичек и писал на полях её тетради «Белла – глупая двоечница».

Он был первым мужчиной Беллы. О, я видела, каким он был мужчиной, тогда, в закутке возле школьной раздевалки, я видела, как вздулись спереди его брюки, лицо покрылось красными пятнами, а руки судорожно ощупывали мою сестру, сменяя одежду в поисках кожи. Однажды меня стошнило, когда, слишком рано вернувшись домой, я застала их полураздетыми на повети. Бабушка как ни в чём не бывало храпела на печке. Лучше уж быть мёртвой, чем позволить это-

му увальню дотронуться до себя. Я думала так, потому что никогда не любила Адама.

Мне приходилось всегда оставаться где-то неподалёку, сидеть одиноко за последней партой – кому есть дело до призраков, станут ли дети думать о смерти? Но я заставляла их видеть себя, завязывала хвост набок и заправляла брюки в разноцветные носки, топала ногами и бегала от стены к стене, отталкивая всех, кто встречался на пути.

На урок труда, чтобы сделать открытки на какой-то Новый год, все принесли засохшие листья, бисер, цветную бумагу и ленточки, а я – мёртвого голубя, которого нашла по дороге в школу. Чтобы вышла снежинка, я стала выдирать из него перья и клеить на картон. Но девочка, сидевшая за партой впереди, обернулась и завизжала на весь класс.

Учительница схватила меня за шиворот и потащила к завучу. Пока она вела меня между рядами парт, я вырывалась и хлестала всех подряд. «Чёртовы дети, я не люблю вас, не люблю! Куда мне деваться от ваших невидящих глаз, как спастись от настырных рук, которые вы тянете к моей сестре?»

В другой раз Белла и Адам попросили меня помочь им. Нужно было вырвать страницу из учебника по литературе, чтобы потом спрятать её под партой и списывать на контрольной. Но Белла уже тогда относилась к книгам с трепетом, а Адам тот же трепет изображал, чтобы сохранять в её глазах надлежащий имидж.

– Что, слабо? – я вырвала страницу одним махом. – Это же просто бумага.

– У тебя совсем нет совести, Алёнушка, – Белла посмотрела на меня с ужасом.

– А твоя совесть беспокоится о пустяках!

Потом мы смеялись, вспоминая этот случай. Недавно, совсем недавно... Мы выросли вместе, и никуда нам было не деться друг от друга. Однако отношения Беллы и Адама закончились в школе, едва начавшись по-настоящему.

Их быстро настиг выпускной, планы на будущее, неопределенные надежды, отцовские галстуки, дешевые платья со стразами – пёстрая деревенская безвкусица, слёзы прощания с каким-то там детством. Напрасные слёзы: в своём детстве мы задержимся надолго. Но тогда-то впереди мерцали миражи! Тогда казалось, что скелет жизни вот-вот обрстет смыслом и пустится в пляс. Но скелет так и остался скелетом, Белла знала. Потом, когда падала с крыши.

На выпускном, запив шампанское самогоном, она схватила Адама за ворот рубашки и потащила танцевать, а потом сказала: «Знаешь что? Расстанемся. Мне не хочется с тобой умереть, поэтому и жить вместе не стоит». Адам разбил о стену пустую бутылку. «Ну и дура! Пожалеешь потом, понятно?» И ушёл с праздника, ни с кем не попрощавшись.

С тех пор его долго не было. Белла усердно оплакивала свою несостоявшуюся любовь, неделями носила на лице траур, но всё-таки не пожалела о принятом решении. И ма-

ло-помалу печаль отхлынула.

Один из её новых ухажёров, тоже приятель с детства, а теперь работник шиномонтажной мастерской, приезжал к нам на своей подержанной иномарке с подбитым боком. Он повёз Беллу в ресторан и, прожевав отбивную, достал из-под полы пальто бархатный куб, в котором покоилась злосчастная золотая окружность. Предложение руки и сердца прозвучало так, как будто он предложил Белле починить машину.

– Милый мой, к чему мне эти органы тела? – сестра улыбалась, безжалостно глядя ему в глаза. – Предложи мне лучше свою душу, предложи мне лучше свой...

– Да иди ты!

Сестра засмеялась ему в лицо и ушла. Будь я жива, поступила бы так же. Для чего нам мужчины? Мы завели бы себе кошку и кормили бы её живыми канарейками. А тараканов стали бы травить мышьяком. И всех тех незнакомцев, которые стучат в наши двери.

Когда Адам появился снова, обстоятельства оказались на его стороне.

Белла была слаба. Совсем как та кошка из детдома, в который нас едва не упекли после того, как мама впервые пустила в ход ножи, а бабушка слегла в больницу с инфарктом. Дети переломали той кошке лапы, а потом заставили убежать, швыряя камнями вслед.

– Тебе просто надо отвлечься, – советовал Адам заискивающим голосом. Белла лежала с температурой. – Пойдём прогуляемся, выпьем где-нибудь кофе, сходим в кино. Нужно начать хоть что-то делать, и всё образуется.

Он складывал свои влажные ладони поверх Беллиных, сложенных крест на крест на белой ткани. Водил ладонями по простыням, под которыми грелись её бедра, и Белла покорно соглашалась. Она нуждалась в поддержке. Достаточно стереть с её характера налёт эксцентричности, и мы увидим воздушную, сомнамбулическую девушку, которая вбирает в себя все ветры реальности.

Она была бы слишком податлива, даже распущенна, не будь стальных спиц, которые кое-как поддерживали тенета её характера. Стальной спицей её жизни была я, её любовь ко мне и зубовный скрежет прямо пропорциональной ненависти, её желание выпепить меня у смерти из пасти. Ещё муж-

чины, которых она любила, и стихи, которые иногда спасали. Всё остальное – напускное, дань повседневности.

Книжные переплеты и эксцентричность, грязные волосы и старый халат, всё это было только средством, баррикадой против действительности. Но действительность подбиралась всё ближе, оставляя преграды нетронутыми и вместе с ними – иллюзию защищённости.

Так или иначе, она поддалась воле Адама. Их встречи стали частыми. На улице Белла всегда держала его под руку, словно боялась оступиться в какую-то пропасть, заметную ей одной. Я вечно плелась следом, перешагивая через все эти пошлые многолюдные места, набережные и бульвары, парки и кинотеатры, проспекты и торговые центры.

– Белла, давай купим тебе новые серёжки, – предлагал он, отводя прядь волос с её лица. Сквозь тщательно отглаженную, застёгнутую на все пуговицы рубашку проступали мышцы подтянутого живота. Адам был хорош собой, если не считать неуклюжих узловатых пальцев и чересчур вытянутого подбородка. Смазливый блондин с глянцевою улыбкой и пшеничной щетиной на щеках.

Я плелась следом и всё норовила протиснуться между – разомкнуть их руки. Белла злилась, кричала.

– Сестра, прекрати, наконец! Ты обещала не вмешиваться!

– Мёртвые не обещают.

У меня ничего не вышло. Однажды, вернувшись с очеред-

ной прогулки, Белла выдохнула: «Я замуж выхожу». Она была счастлива, она убедила себя в этом, но в глазах я прочла сомнение: «Что она подумает?» И расхохоталась ей в лицо.

– Не смейся, – попросила она, но я снова не могла остановиться. – Не упрекай. Лучше посмотри, сколько жизни в его глазах. Он живой, он...

– Но тебе не хочется с ним умереть, – напомнила я сквозь смех.

– Мне хочется рядом с ним дышать. Создавать что-то новое, писать стихи.

– Ты не выжмешь из этой прозы ни рифмы.

– Нет, я смогу. Ты, Алёнушка, никогда не поймёшь, что значит быть живой. Не поймёшь, как хочется жить во время оргазма, не узнаешь, как тело может плавиться от радости.

– Куда уж мне, – выговорила я с трудом. Подумать только! Жить во время оргазма. Она хмурилась, сердилась и даже ударила меня по лицу – думала, что я почувствую боль. Но я просто продолжала смеяться.

Соседки причитали на лестничной клетке: «Смех этой психопатки не к добру, не к добру». И суеверно осеняли себя крестом. Да что вы знаете о смехе, гусыни с вечно скорбными лицами? Они круглые сутки подглядывали за нами, эти две раздобревшие от одинокой жизни клячи, и чуть что норовили вызвать пожарных или полицию, а то и скорую помощь. Я бы их обеих задушила собственными руками, но куда уж мне, не для этого я таскаю за собой свою извечную смерть.

Между тем, вопреки моему смеху Белла собрала свою жизнь как незатейливый пазл и, накрепко приклеив к картону, повесила на стену.

– Полюбуйтесь на моё свадебное платье, – говорила она нам, танцуя по комнате в драном халате.

Адам пожимал плечами.

– Ты действительно не хочешь надеть что-нибудь нарядное?

– Мы станем никем, полюбив руками рвать пустоту, в карманы положим смерть, ляжем на берегу... – она его не слушала. Подойдя к окну, смотрела наружу закрытыми глазами.

– Белла, продолжай, – попросила я.

– Только не сегодня, Алёнушка. У меня свадьба, в конце концов! Мы с тобой ещё успеем сочинить оду смерти, – она стёрла с лица минутную скорбь и улыбнулась точно так же, как секунду назад улыбалась, кружась по комнате. Она действительно думала, что сможет и дальше сочинять.

По просьбе Беллы они вступили в брак без церемоний. Да и позвать было, собственно, некого. Сестре ещё не довелось завести близких друзей, а видеть на свадьбе приятелей Адама она не желала. Так что, выполнив все формальности, молодожены просто сходили в ресторан, а потом я слышала, как за стеной простонала их брачная ночь. Адам переехал к нам.

Деньги любили его. Спустя пару лет Адам уже заработал на квартиру, но стал сдавать её каким-то бедным родственникам друга. «Нам ведь пока ни к чему новое жильё? Вот

Ева вырастет...» Беллу передёргивало от его слов.

Он ничего не мог с собой поделать и вечно выставлял напоказ свою посредственность. На какой-то праздник подарил ей плюшевого медведя, а роз, которые он принес вместе с этим уродцем, хватило бы на десять похорон. Они наполнили запахом всю квартиру, дышать было нечем. Сестра ходила со слезами на глазах. Адам не знал, что у неё аллергия на цветы, а Белла и не думала рассказывать. Я выдрала медведю глаза и нос.

Адам считал свой брак счастливым. Но в сущности, он никогда не знал Беллу. Ему бы научиться понимать её хоть немного, но стоило сестре начать какой-нибудь серьёзный разговор, как он запечатывал ей рот своими губами и тащил в постель.

Несколько раз я пыталась выгнать его вон, но Адам пригрозил, что отправит меня в психушку, а Беллу увезет в Чехию, где у него, мол, друг-бизнесмен нуждается в компаньоне.

Я не могла оставить сестру и смирилась с его присутствием. Да и она всегда за него вступалась. Примерная жена – вы только поглядите!

Всё несколько переменялось, когда Белла узнала, что беременна. До тех пор она сама была покорна Адаму, как ребёнок, и при этом полагала, что нашла счастье на веки вечные. Мутные заводи семейного быта, грязное бельё и смятые простыни, перебранки по пустякам и жирные пятна на ку-

хонных стенах. Для неё ли это? Белла была уверена, что да.

Но, обнаружив в себе новую жизнь, она вдруг очнулась – словно вышла из комы. Вновь стала собой и с ужасом огляделась вокруг.

– Алёнушка, разве для этого ты меня спасала? Разве здесь моё место? – причитала она, протягивая ко мне руки. Я отстранялась, я растворялась в воздухе, я протаскивала себя сквозь стену и пряталась в тёмном углу между шкафом и кроватью.

– Нет, Белла. Твоё место там, со мной, на парашюте, – я так и сказала. Кто, если не я, должен был быть рядом с ней? Где, если не там? Только та доля секунды имела значение, когда Белла была готова оставить всё и упасть – или же, свесив с крыши ноги, сочинять стихи нараспев.

С тех пор как она вышла замуж, поэзия закончилась. Только редкие рифмы танцевали в воздухе в моменты сомнамбулических озарений. Мнимый комфорт и ленивое бездействие на время сделали из неё «хорошую жену». Уборка по воскресеньям, секс перед сном и обеды из двух блюд – ничего нового, ничего лишнего. «Лучше бы я не спасла тебя тогда, Белла», – иногда хотелось мне сказать, но я жалела её, я любила. И потому молчала.

Потом Белла стала уходить по вечерам. Она много пила и возвращалась порой за полночь в разорванной куртке, в грязных джинсах, облепленных репейником. Адам смотрел на всё сквозь пальцы.

Я искала её. Искала на заброшенных стройках, на ступенях зассанных подъездов, между древесными корнями, в переездах, где забыли включить фонари, на городских свалках, в подземных переходах, в темноте лесных троп, я искала её между перьями мёртвых голубей и в земле у себя под ногами. Находила и тащила домой. Её боль была тяжелее тела.

Адам храпел на своей половине кровати.

– Белла, ну что ты так поздно, где ты пропадала, опять ты пьяна, ты же беременна, перестань, – он отчитывал её сквозь сон, а Белла падала на матрас и мгновенно теряла связь с реальностью.

Им предстояло провести вместе ещё несколько лет. Белла родила девочку, которую окрестили Евой. У неё были красные щеки и острые крысиные коготки, а в остальном она была на удивление складным ребёнком.

Время от времени Белла таскала меня по врачам, которые щупали мне пульс, измеряли давление, делали электрокардиограммы, а потом подсовывали мне фальшивки. «Девушка, у вас отличное здоровье. Будете жить до старости, если повезёт». Из жалости к Белле я слушала эти бредни без смеха.

В конце концов, Адам уговорил сестру поместить меня в психиатрическую клинику, и я на время оставила их.

Глотая нейролептики, гуляя по больничным коридорам, я думала только о Белле.

Всё это время Марк продолжал жить как прежде. Работал где придётся, нещадно изводил мать своим одиночеством и злостью на всех и вся. Только шрам на шее приобрел благородный оттенок слоновой кости и перестал ужасать прохожих.

Он окончательно отмежевался от человечества и порой не мог заставить себя пойти в магазин – ведь для этого пришлось бы тереться в толпе, смотреть в глаза продавцу или кассиру. Или не смотреть в глаза, но всё же протягивать деньги или просить, к примеру, «Будьте добры, буханку хлеба». Возвращаясь домой, он тщательно мыл руки с хозяйственным мылом, и прикосновения к миру утекали в сливную трубу.

Ножи для резки мяса больше не соблазняли Марка своими лезвиями, но смирения перед миропорядком не прибавилось ни на пядь.

Впрочем, однажды у него всё же появился друг, а вместе с ним – шанс найти точку пересечения с внешним миром.

Марк встретил парня на улице, когда тот, с трудом поборов гордость, попросил у него мелочи на проезд. Окинув молодого человека привычно недоброжелательным взглядом, Марк заметил в его лице ум, а в руках – потрёпанную связку книжек.

Именно он рассказал Марку про Факультет жизни. Скоро мы подберёмся поближе к этой мышеловке, которая сломала хребты многим грызунам, повывлезавшим на свет божий из своих подземных лабиринтов. А пока будущий друг Марка сбивчиво и торопливо описывал, как его ограбили сразу по приезду в город.

– В электричке я вышел покурить в тамбур и познакомился с молодой парой, парень и девушка внушали доверие, они болтали без умолку, девушка спросила, куда я направляюсь, я сказал, что собираюсь поступить в университет, – Марк всё это время молча смотрел себе под ноги. – Потом они предложили мне выпить и поболтать о том о сём, всё равно приёмная комиссия закрыта, суббота же, я обрадовался, у меня здесь никого, они отвезли меня на берег какой-то реки, налили водки, но видно это была не просто водка, после пары рюмок я уснул на траве, а когда проснулся, вокруг никого, в кошельке ни копейки, я пошёл пешком по трассе, попутки не останавливались, я хочу уехать отсюда, мне только нужны деньги на дорогу, понимаешь, я уже ненавижу этот город, сдался мне этот факультет...

На удивление терпеливо и доверчиво выслушав историю первого встречного, Марк вдруг решил помочь парню. Конечно, его первоначальным намерением было развернуться и уйти, оставив горсть мелочи, чтобы отвязался, но он вспомнил собственные слова: «Что может быть лучше друга?», вспомнил о том, как беспокоится мать, и о своей непри-

каянной жизни, в которой не было ни души. Он решил. Терять было нечего.

– Если хочешь, поживи у меня. Расскажешь про свой университет, поговорим об искусстве Древней Греции, – Марк снова глянул на книжки в руках нового знакомого, среди которых оказались античные поэты.

Виктор, так звали этого несчастливца, сначала не поверил своим ушам и заподозрил подвох, но быстро смекнул, что украсть у него больше нечего и, протянув руку теперь уже для знакомства, отправился к Марку. Конечно, юноша удивился, что его новый приятель спит на табурете, но вскоре привык к безобидным странностям Марка.

Выпив таблетку от головной боли, он расположился на кровати и тут же заснул, а Марк уселся на пол и долго смотрел на спящего. В ответ на какой-то беспокойный сон лицо юноши то и дело хмурилось, на носу проявлялся каскад морщинок. Этот юнец ломал интерьер своим несуразным присутствием, но прогнать его было нельзя – ведь Марк сам предложил ему помощь. «Нужно быть верным слову, если кроме слов у тебя ничего нет».

Когда Виктор проснулся, Марк скормил ему суп, приготовленный матерью и уже неделю киснувший в холодильнике, принёс вещи переодеться. Парень тут же оживился и предложил скрепить дружбу алкоголем. Марк был не против. Они сходили за пивом и проговорили на балконе всю ночь. Очень кстати там стояла низкая деревянная лавочка,

усевшись на которой Марк обычно наблюдал, как горят холсты. Раньше мать взбиралась на неё, чтобы развесить бельё.

– Я сжигаю их, потому что мне тошно смотреть, – объяснял он Виктору после пары-тройки бутылок. – Единственный способ остаться здесь чистым – это выжигать себе нутро калёным железом. Жечь без жалости, создавать заново, и снова жечь, и снова начинать, в мире полно отравы, зачем умножать боль, зачем умножать холсты, которые никому не хочешь показывать, которые следует уничтожить?

– Думаю, мир мог бы оценить твою боль. Все вокруг страдают. Да у каждого второго лицо как на похоронах!

– Оценить – не исцелить.

Виктор виновато пожал плечами.

– Я не участвую в аукционах.

– Что ты за человек! – не унимался Виктор. – Тебя послушать, так здесь и заняться нечем, кроме как перерезать себе глотку.

Марк рассмеялся.

Они просидели до рассвета, а потом Марк не мог заснуть на своём табурете, потому что по закрытым векам хлестали солнечные лучи. Пришлось лечь на полу, подложив под голову ботинок. Это нарушило привычный распорядок – каждый его день был расписан по минутам. Он знал, что будет делать спустя час или два, для каждого движения были заготовлены правила, он и не замечал своего педантизма, но, едва проснувшись, неизменно начинал повтор алгоритма.

Теперь он злился, засыпая, хотя и знал, что виноват сам. Если впустил в дом человека, нельзя обвинять его в нарушении своего личного расписания. А чего стоила эта вторая зубная щётка в ванной, это полотенце на соседнем крючке, запах чужого тела, который Марк ощущал чутко, как парфюмер!

Мать не могла нарадоваться. Пьяные выходки нового приятеля Марка её не заботили. К тому времени она постарела внутри и мечтала избавиться от каждодневной тревоги за сына, мучительно перерастающего детство. Она стала приходить реже. Они говорили друг с другом уже без надрыва и, казалось, научились любить друг друга, обитая по разные стороны улицы.

Однако гармония сохранилась ненадолго. Поначалу дружба крепла, но пару недель спустя Виктор переменялся. Всегда оставаясь безнаказанным, он ухитрялся воровать алкоголь в магазинах самообслуживания и каждый вечер напивался вдрызг. С трудом передвигая ватные ноги, возвращался, но разговоров избегал. В один из таких вечеров он поджёг в мангале документы, которые предназначались для приёмной комиссии.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.